

◆ ВСЕМИРНАЯ
ЛИТЕРАТУРА ◆



ОЧАРОВАННАЯ ДАЛЬ



Воспоминания
о Серебряном веке



МОСКВА
2024

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8
О-94

Оформление серии *Натальи Ярусовой*

В оформлении переплета использованы фрагменты
работы художника Леона-Франсуа Комерра

О-94 **Очарованная** даль. Воспоминания о Серебряном
веке. — Москва : Эксмо, 2024. — 416 с. — (Всемирная
литература (с картинкой)).

ISBN 978-5-04-188899-2

Вы держите в руках сборник, бережно хранящий воспомина-
ния о выдающихся деятелях отечественной культуры прошлого
столетия. Книга проливает свет на жизнь и творчество этих людей,
представляя подлинные моменты чужой памяти, опыт взлетов и
падений.

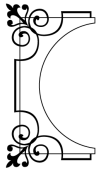
Для всех, кто интересуется Серебряным веком, эта книга ста-
нет ценным источником вдохновения. Она раскрывает жизнь ве-
ликих деятелей прошлого с разных и порой неожиданных сторон.

Это не просто книга, это карта Серебряного века, энциклопе-
дия его дневной и ночной жизни.

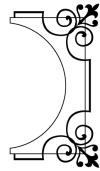
УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8

ISBN 978-5-04-188899-2

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024



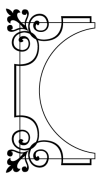
Зинаида Гиппиус
Об Александре Добролюбове



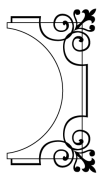
Это было уже в 1893 году, незадолго до появления мелкого нашего «декадентства», а также перед появлением таких серьезных «новых» поэтов, как Ф. Сологуб и В. Брюсов. В истории русского чистого «декадентства» интересен был только один человек, притом не как поэт, а именно как человек, с его характерно «русской» историей жизни. В один прекрасный вечер к нам явились два гимназиста; один оказался моим троюродным братом, Владимиром Гиппиусом; раньше я его не знала. Его товарищ, черноглазый, тонкий и живой — был Александр Добролюбов. Они уже знали мои «новые» стихи; сами же писали такие, в которых мы сразу увидели то нарочитое извращение, что, на мой взгляд, уже с самого начала было «старым» и настоящим *décadence* — упадком. О В. Гиппиусе много писать нечего. Мы потом видались нередко, он напечатал тоненькую книжку своих стихов, которую я убедила его не выпускать в свет; писал впоследствии и другие стихи (под псевдонимом «Бестужева») — неважные. Любопытно в нем лишь одно: через годы и годы, когда он был уже профессором в известном Тенишевском училище, он заявился «евразийцем» — первым, кажется. Незадолго до революции он перешел в православие (был, как Гиппиус, лютеранином), перевел в православие и жену (тоже, как Гиппиус, был женат на немке). Эмигрировать не пожелал и умер в Петербурге. Вот и все. Но

Ал. Добролюбов был другого склада. Свое «декадентство» он прежде всего провел в жизнь. Мы с ним не видались уже, но было известно сразу, что он живет в каких-то черных комнатах и черных одеяниях, что у него много молодых последовательниц (или поклонниц), которым он проповедует, и успешно, самоубийство. И вдруг... вдруг с ним случилось то, что не поймет ни один европеец, но человек русский к подобным делам привык, — Добролюбов «ушел». Такие «уходы» — не пропадание: это лишь погружение в море российское, из которого обычны краткие временные выплывания. (Я знаю еще один такой «уход», гораздо позднее, молодого, очень красивого студента из знатной семьи, и талантливого поэта притом. Он погиб уже при большевиках.) Декадент Добролюбов нырнул глубоко, выплыл не скоро, и выплывания его были не часты, кратки. Он являлся босой, в армяке, с такими же своими «учениками». Сидели все на полу, мало разговаривали, а когда их спрашивали — то, немногословно ответив, прибавляли: «Брат мой, помолчим». Так, Добролюбов приходил один раз к Брюсову, другой раз к нам. Что это была за секта — никто путем не знал. Говорили только, что там «все сидят, поникши». И что «учеников» у Добролюбова было очень много.

По-моему (да простит мне «*âme slave*»), было это тоже своего рода «декадентство». Дм. Серг. со мной не соглашался, Добролюбов его интересовал, и он всех о нем спрашивал, пока тот совсем не исчез из виду.



Н. А. Тэффи
БАЛЬМОНТ



К Бальмонту у нас особое чувство. Бальмонт был наш поэт, поэт нашего поколения. Он наша эпоха. К нему перешли мы после классиков, со школьной скамьи. Он удивил и восхитил нас своим «перезвоном хрустальных созвучий», которые влились в душу с первым весенним счастьем.

Теперь некоторым начинает казаться, что не так уж велик был вклад бальмонтовского дара в русскую литературу. Но так всегда и бывает. Когда рассеется угар влюбленности, человек с удивлением спрашивает себя: «Ну чего я так бесновался?» А Россия была именно влюблена в Бальмонта. Все от светских салонов до глухого городка где-нибудь в Могилевской губернии знали Бальмонта. Его читали, декламировали и пели с эстрады. Кавалеры нашептывали его слова своим дамам, гимназистки переписывали в тетрадки:

Открой мне счастье,
Закрой глаза...

Либеральный оратор вставлял в свою речь:

— Сегодня сердце отдам лучу...

А ответная рифма звучала на полустанке Жмеринка-Товарная, где телеграфист говорил барышне в мордовском костюме:

— Я буду дерзок — я так хочу.

У старой писательницы Зои Яковлевой, собиравшей у себя литературный кружок, еще находились недовольные декаденты, не желающие признавать Бальмонта замечательным поэтом. Тогда хозяйка просила молодого драматурга Н. Евреинова прочесть что-нибудь. И Евреинов, не называя автора, декламировал бальмонтовские «Камыши»:

Камыш-ш-ши... ш-ш-шуршат...
Зачем огоньки между ними горят...

Декламировал красиво, с позами, с жестами. Слушатели в восторге кричали: «Чье это? Чье это?»

— Это стихотворение Бальмонта, — торжественно объявляла Яковлева.

И все соглашались, что Бальмонт — прекрасный поэт. Потом пошла эпоха мелодекламации.

В моем саду сверкают розы белые,
Сверкают розы белые и красные,
В моей душе дрожат мечты несмелые,
Стыдливые, но страстные.

Декламовала Ведринская. Выступали Ходотов и Вильбушевич.

Ходотов пламенно безумствовал, старательно пряча рифмы.

Актерам всегда кажется, что стихотворение много выиграет, если его примут за прозу. Вильбушевич разделял тремоло и изображал море хроматическими гаммами. Зал гудел восторгом.

Я тоже отдала свою дань. В 1916 году в Московском Малом театре шла моя пьеса «Шарманка Сатаны». Первый акт этой пьесы я закончила стихотворением Бальмонта. Второй акт начала продолжением того же стихотворения. «Золотая рыбка». Уж очень оно мне понравилось. Оно мне нравится и сейчас.

В замке был веселый бал,
Музыканты пели.
Ветерок в саду качал
Легкие качели.
И кружились под луной,
Словно вырезные,
Опьяненные весной
Бабочки ночные.
Пруд качал в себе звезду,
Гнулись травы зыбко,
И мелькала там в пруду
Золотая рыбка.
Хоть не видели ее
Музыканты бала,
Но от рыбки, от нее
Музыка звучала... и т. д.

Пьеса была погружена в темное царство провинциального быта, тупого и злого. И эта сказка о рыбке такой милой, легкой, душистой струей освежала ее, что не могла не радовать зрителей и не подчеркивать душной атмосферы изображаемой среды.

Бывают стихи хорошие, отличные стихи, но проходят мимо, умирают бесследно. И бывают стихи как будто банальные, но есть в них некая радиоактивность, особая магия. Эти стихи живут. Таковы были некоторые стихи Бальмонта.

Я помню, приходил ко мне один большевик — это было еще до революции. Большевик стихов вообще не признавал. А тем более декадентских (Бальмонт был декадентом). Из всех русских стихов знал только некрасовское:

От ликующих, праздноболтающих,
Обадряющих руки в крови
Уведи меня в стан погибающих.

Прочел, будто чихнул четыре раза.
Взял у меня с полки книжку Бальмонта, раскрыл,
читает:

Ландыши, лютики, ласки любовные,
Миг невозможного, счастья миг.

— Что за вздор, — говорит. — Раз невозможно, так его и не может быть. Иначе оно делается возможным. Прежде всего надо, чтобы был смысл.

— Ну, так вот слушайте, — сказала я. И стала читать:

Я дам тебе звездную грамоту,
Подножием сделаю радугу,
Над пропастью дней многогромною
Твой терем высоко взнесу...

— Как? — спросил он. — Можно еще раз?

Я повторила.

— А дальше?

Я прочитала вторую строфу и потом конец:

Мы будем в сияньи и в пении,
Мы будем в последнем мгновении
С лицом, обращенным на юг.

— Можно еще раз? — попросил он. — Знаете, это удивительно! Собственно говоря, смысла уловить нельзя. Я, по крайней мере, не улавливаю. Но какие-то образы возникают. Интересно — может, это дойдет до народного сознания? Я бы хотел, чтобы вы мне записали эти стихи.

Впоследствии, во время революции, мой большевик выдвинулся, стал значительной персоной и много покровительствовал братьям-писателям. Это действовала на него магия той звездной грамоты, которую понять нельзя.

* * *

Бальмонта часто сравнивали с Брюсовым. И всегда приходили к выводу, что Бальмонт истинный, вдохновенный поэт, а Брюсов стихи свои высиживает, вымучивает. Бальмонт творит, Брюсов работает. Не думаю, чтобы такое мнение было безупречно верно. Но дело в том, что Бальмонта любили, а к Брюсову относились холодно.

Помню, поставили у Комиссаржевской «Пелеаса и Мелисанду» в переводе Брюсова. Брюсов приехал на

премьеру и во время антрактов стоял у рампы лицом к публике, скрестив на груди руки, в позе своего портрета работы Врубеля. Поза напыщенная, неестественная и для театра совсем уж неуместная привлекала внимание публики, не знавшей Брюсова в лицо. Пересмеиваясь, спрашивали друг друга: «Что означает этот курносый господин?»

Ожидавший оваций Брюсов был на Петербург обижен.

КАК ВСТРЕТИЛАСЬ Я С БАЛЬМОНТОМ

Прежде всего встретила я с его стихами. Первое стихотворение, посвященное мне, было стихотворение Бальмонта:

Тебя я хочу, мое счастье,
Моя неземная краса.
Ты солнце во мраке ненастья,
Ты жгучему сердцу роса.

Посвятил мне это стихотворение не сам Бальмонт, а кадет Коля Никольский, и было мне тогда четырнадцать лет. Но на разлинованной бумажке, на которой старательно было переписано это стихотворение, значилось: «Посвящается Наде Лохвицкой». И упало оно, перелетев через окно, к моим ногам, привязанное к букетику полуувядших ландышей, явно выкраденных из вазы Колиной тетки. И все это было чудесно. Весна, ландыши, моя неземная краса (с двумя косичками и веснушками на носу).

Так вошел в мою жизнь поэт Бальмонт.

Потом, уже лет пять спустя, я познакомилась с ним у моей старшей сестры Маши (поэтессы Мирры Лохвицкой). Его имя уже гремело по всей Руси. От Архангельска до Астрахани, от Риги до Владивостока, вдоль и поперек читали, декламировали, пели и выли его стихи.

— Si blonde, si gaie, si femme, — приветствовал он меня.

— А вы si monsieur, — сказала сестра.

Знакомство было кратковременным. Бальмонт, вероятно, неожиданно для самого себя, написал стихотворение, подрывающее монархические основы страны, и спешно выехал за границу.

Следующая встреча была уже во время войны в подвале «Бродячей собаки». Его приезд был настоящая сенсация. Как все радовались!

— Приехал! Приехал! — ликовала Анна Ахматова. — Я видела его, я ему читала свои стихи, и он сказал, что до сих пор признавал только двух поэтесс — Сафо и Мирру Лохвицкую. Теперь он узнал третью — меня, Анну Ахматову.

Его ждали, готовились к встрече, и он пришел.

Он вошел, высоко подняв лоб, словно нес золотой венец славы. Шея его была дважды обвернута черным, каким-то лермонтовским галстуком, какого никто не носит. Рысьи глаза, длинные, рыжеватые волосы. За ним его верная тень, его Елена, существо маленькое, худенькое, темноликое, живущее только крепким чаем и любовью к поэту.

Его встретили, его окружили, его усадили, ему читали стихи. Сейчас образовался истерический круг почитательниц — «жен мироносиц».

— Хотите, я сейчас брошусь из окна? Хотите? Только скажите, и я сейчас же брошусь, — повторяла молниеносно влюбившаяся в него дама.

Обезумев от любви к поэту, она забыла, что «Бродячая собака» находится в подвале, и из окна никак нельзя выброситься. Можно было бы только вылезти, и то с трудом и без всякой опасности для жизни.

Бальмонт отвечал презрительно:

— Не стоит того. Здесь недостаточно высоко.

Он, по-видимому, тоже не сознавал, что сидит в подвале.

Бальмонт любил позу. Да это и понятно. Постоянно окруженный поклонением, он считал нужным держаться так, как, по его мнению, должен держаться великий поэт. Он откидывал голову, хмурил брови. Но его выдавал его смех. Смех его был добродушный, детский и какой-то беззащитный. Этот детский смех его объяснял многие нелепые его поступки. Он, как ребенок, отдавался настроению момента, мог забыть данное обещание, поступить необдуманно, отречься от истинного. Так, например, во время войны 14-го года, когда в Москву и Петербург нахлынуло много польских беженцев, он на каком-то собрании в своей речи выразил негодование, почему мы все не заговорили по-польски.

— Они среди нас уже почти полгода, за это время можно было успеть научиться даже китайскому языку.

Когда он уже после войны ездил в Варшаву, его встретила на вокзале группа русских студентов и, конечно, приветствовала его по-русски. Он выразил неприятное удивление:

— Мы, однако, в Польше. Почему же вы не говорите со мной по-польски?

Студенты (они потом мне об этом рассказывали) были очень расстроены:

— Мы русские, приветствуем русского писателя, вполне естественно, что мы говорим по-русски.

Когда узнали его ближе, конечно, простили ему все. Для Бальмонта было естественным в Польше проникнуться всем польским. В Японии он чувствовал себя японцем, в Мексике — мексиканцем, ясно, что в Варшаве он был поляком.

Случилось мне как-то завтракать с ним и с профессором Е. Ляцким. Оба хорохорились друг перед другом, хвастаясь своей эрудицией и, главное, знанием языков.

Индивидуальность у Бальмонта была сильнее, и Ляцкий быстро подпал под его влияние, стал манерничать и тянуть слова.

— Я слышал, что вы свободно говорите на всех языках? — спрашивал он.

— М-м-да, — тянул Бальмонт. — Я не успел изучить только язык зулю (очевидно, зулусов). Но и вы тоже, кажется, полиглот?

— М-м-да, я тоже плохо знаю язык зулю, но другие языки уже не представляют для меня трудности.

Тут я решила, что мне пора вмешаться в разговор.

— Скажите, — спросила я деловито, — как по-фински «четырнадцать»?

Последовало неловкое молчание.

— Оригинальный вопрос, — обиженно пробормотал Ляцкий.

— Только Тэффи может придумать такую неожиданность, — делано засмеялся Бальмонт.

Но ни тот ни другой на вопрос не ответили. Хотя финское «четырнадцать» и не принадлежало к зулю.

Последние годы жизни Бальмонт много занимался переводами. Переводил ассирийские псалмы (вероятно, с немецкого). Я когда-то изучала религии Древнего Востока и нашла в работах Бальмонта очень точную передачу подлинника, переложенного в стихотворную форму.

Переводил он почему-то и малостоящего чешского поэта Врхлицкого. Может быть, просто по знакомству.

«— Кошка, кошка, куда ты идешь?

— Я иду в колодезь.

— Кошка, кошка, зачем ты идешь в колодезь?

— Пить молоко».

Когда он читал вслух, кошка всегда отвечала жеманно-обиженным тоном.

Пожалуй, можно было бы и не переводить.

Переводы Бальмонта были вообще превосходны. Нельзя не упомянуть его Оскара Уайльда или Эдгара По.

В эмиграции Бальмонты поселились в маленькой меблированной квартире. Окно в столовой было всегда завешено толстой бурой портьерой, потому что поэт разбил стекло. Вставить новое стекло не имело никакого смысла, — оно легко могло снова разбиться. Поэтому в комнате было всегда темно и холодно.

— Ужасная квартира, — говорили они. — Нет стекла и дует.

В «ужасной квартире» жила с ними их молоденькая дочка Мирра (названная так в память Мирры Лохвицкой, одной из трех признаваемых поэтесс), существо очень оригинальное, часто удивлявшее своими странностями. Как-то в детстве разделась она голая и залезла под стол, и никакими уговорами нельзя было ее оттуда вытащить. Родители решили, что это, вероятно, какая-то болезнь, и позвали доктора.

Доктор, внимательно посмотрев на Елену, спросил:

— Вы, очевидно, ее мать?

— Да.

Еще внимательнее на Бальмонта:

— А вы отец?

— М-м-м-да.

Доктор развел руками:

— Ну так чего же вы от нее хотите?

Еще жила вместе с ними Нюшенька, нежная, милая женщина с огромными восхищенно-удивленными серыми глазами. В дни молодости влюбилась она в Бальмонта и так до самой смерти и оставалась при нем, удивленная и восхищенная. Когда-то очень богатая, она была совсем нищей во время эмиграции и, чахоточная, больная, все что-то вышивала и раскрашивала, чтобы на вырученные гроши делать Бальмонтам подарки. Она умерла раньше их.

Как нимб, любовь, твое сиянье
Над каждым, кто погиб, любя.